



**Елизавета**

*Церковь Богоматери в Оксфорде,  
воскресенье, 22 сентября 1560 года*

Я велела Кэт принести табурет и превратиться в дракона, чтобы охранять дверь в опочивальню, пока меня не будет.

— Ни одна живая душа, будь то мужчина или женщина, не должна переступить порог этой комнаты. Скажешь, что меня мучит жутчайшая мигрень и тот, кто осмелится потревожить мой покой, пусть пеняет на себя, — наставляла я нянюшку, сбрасывая с себя царственные одежды из белой парчи, украшенные жемчугами и самоцветами и расшитые золотом: громоздкую юбку с фижмами, которая так и осталась стоять на полу, словно боевой доспех; за ней последовали накрахмаленные юбки, отделанные драгоценными камнями, шелковые чулки — их покупал мне Роберт со свойственной ему расточительностью, заказывая в самой Испании по двадцать пар зараз, — и, наконец, сорочка из прозрачной газовой ткани, невесомая, словно вуаль невесты, и тонкая настолько, что через нее можно было бы с легкостью читать книгу при ярком свете и при



условии, что она была бы написана достаточно густыми чернилами.

И вот все это пышное убранство покоится у моих нагих стоп, а алые рубины и лазурные сапфиры на небрежно брошенном изысканном туалете напоминают плывущие в пене густых сливок цветы. Я выпрямилась во весь рост и, сделав глубокий вдох, всласть потянулась, подняв руки высоко над головой. Если бы это мог видеть сейчас Роберт, он наверняка сравнил бы меня с Афродитой пенорожденной, выходящей из волн прибоя. Но не о Роберте теперь я должна была думать. Я снова глубоко вздохнула, прежде чем сделать шаг вперед, оставив позади богатые, роскошные белоснежные наряды, и облачиться в рубаху из небеленого льна и коричневую одежду простолюдина из полотна и кожи.

Не обращая внимания на причитания встревоженной Кэт, которая походила сейчас на птицу, надрывно кричащую в позолоченной клетке и тщетно пытающуюся вырваться на свободу, я натягивала высокие кожаные сапоги для верховой езды, а она все кружила и хлопотала вокруг меня, закалывая волосы потуже и умоляя оставить эту безумную и опасную затею.

Как только мои знаменитые огненные локоны скрылись под коричневым матерчатым чепцом, я поднялась на ноги и одним лишь властным жестом своей изящной мраморно-белой руки отослала Кэт за дверь, положив конец ее болтовне, словно палач, единственным ударом топора отправляющий преступника на тот свет. В воцарившейся после ее ухода звенящей тишине я схватила кожаные перчатки вместе с хлыстом и направилась к потайной двери, ведущей на лестницу. Спустившись по ней, можно было попасть прямо в сад, где я так часто прогуливалась по утрам в одной сорочке, прежде чем вновь взять в руки королевские регалии и приступить к повседневным своим обязанностям. Тогда



я принимала на свои плечи тяжкий груз правления державой и порой чувствовала себя при этом самой одинокой женщиной на всем белом свете.

Я крепко держалась за стену, осторожно ставя ноги в тяжелых сапогах на каменные ступени, которые тускло освещались угасающим пламенем факелов. «Лестница! Вечно на лестницах случаются какие-нибудь несчастья: убийство либо еще что-нибудь страшное». Я никак не могла отогнать от себя эту мысль.

У реки меня ждала обычная наемная лодка, а на другом берегу — скакун, быстроногий гнедой жеребец, мускулистый и поджарый. Тоже подарок Роберта. Безрассудно и опрометчиво было с моей стороны отправиться в подобное путешествие под покровом тайны, совсем одной. Я, английская королева, отправилась в тайное паломничество без привычной свиты, без камеристок и стражи, в полном одиночестве, переодевшись в мужскую одежду. Со мной может случиться все что угодно — можно ждать нападения шайки воров или ватаги головорезов, меня могут убить или обесчестить и бросить гнить в яме, если мой обман раскроется. Или же принудят доживать свои дни пленницей в непотребном доме, угождая похотливым мужчинам, если я так и не решусь раскрыть свою тайну, или попросту не поверив в мою немыслимую историю. С каждым шагом я все отчетливее представляла себе возможные последствия своего легкомыслия, но мы с опасностью давно уже водили близкую дружбу; так или иначе, мы шли с ней рука об руку с самого момента моего рождения. Я никогда не чувствовала себя под защитой, безопасность представлялась мне вымыслом, в который даже поверить трудно. Мне удалось пройти невредимой сквозь перепады настроения и убийственный гнев своего царственного родителя, и даже когда родная сестра, так и не сумев, как ни старалась, отыскать



хотя бы крупицу моей вины, возжелала погубить меня и заточила в темницу, мне удалось выстоять.

Я осталась в живых, а та, другая, умерла — кровь за кровь. Она встретила свой конец в гордом одиночестве, некому было защитить ее от опасности, уберечь от смерти, уготованной злым роком, собственным отчаянием, губительной оплошностью и низостью людских душ. Вот почему я отправилась в это одинокое путешествие, сменив царственный облик и оставив дома пышное убранство, и помчалась, как ветер, в Оксфорд под проливным дождем, смывавшим скорбные слезы, струившиеся по моим щекам.

Я прибыла вовремя, к началу похоронной церемонии. Плакальщицы и городские зеваки, рвавшие хотя мельком увидеть погребальное шествие, выстроились вдоль дороги с непокрытыми головами под сильным ливнем, прижав шапки к груди.

Я прикрыла глаза и представила рыдающую в приступе ярости Эми. Она стучала кулачками по тюфяку, устилавшему ложе, которое ей полагалось делить со своим мужем в собственном доме, а не спать одной, словно она была вечной гостьей безмерно дорогого друга или камердинером, всеми силами старающимся услужить своему благородному и могущественному господину, Роберту. А господин этот занимал должность королевского конюшего и — если верить слухам — был фаворитом королевы, из милости сохранившим нежеланную жену. Как же она, должно быть, ненавидела меня, негодуя на несправедливости этого мира: рак поселился в ее безукоризненной белоснежной груди, по капле высасывая из нее жизнь, лишая сил и воли, словно безобразная, раздувшаяся пиявка, которой суждено пить кровь несчастной до тех пор, пока будет биться ее сердце; ее муж всей душой любил другую, желавшую ей смерти и, возможно, даже пытавшуюся приблизить ее конец, чтобы



поскорее заполучить Роберта в супруги, посулив ему в качестве приданого корону. И та женщина — английская королева — похитила, как думалось Эми, единственную ее любовь. У нее были все основания злиться, горевать, бояться... и ненавидеть меня.

Когда бальзамировщики вскрыли тело первой жены моего отца, гордой и неукротимой Екатерины Арагонской, то обнаружили, что сердце ее сжала в смертельных объятиях раковая опухоль. Кое-кто даже решил, что женщина, последние силы истратившая на письмо моему отцу со словами «клянусь, больше всего на свете очи мои жаждут увидеть тебя», умерла и в самом деле из-за разбитого сердца. Был ли подобный роковой недуг Эми живым свидетельством боли, жившей в ее груди все это время, бесспорным доказательством того, что сердцу ее было нанесено смертельное увечье, когда из него вырвали силой пронзившую его когда-то стрелу Купидона? Если бы дело и впрямь было в этом, если бы все слухи и пересуды о нас были правдивы, то это мы — мы с Робертом — были бы виновны в ее смерти. Бесчувственный и безразличный Роберт выдернул эту стрелу, обрекши жену на страдания и верную погибель, и одарил меня своей любовью. А я, эгоистичная и самодовольная женщина, опьяненная свободой и недавно обретенной властью распоряжаться собственной судьбой, поддалась не ведающей границ страсти и приняла чувства Роберта, словно подношение, жертву, возложенную к ногам алебастровой статуи какой-нибудь богини.

Черные перья, что украшали перекладыны, водруженные на плечи мужчин, несших гроб, повисли и испачкались, побитые тяжелыми каплями дождя, и были похожи теперь на чернильные каракули на мокром листе. Они напоминали те залитые слезами письма, что Эми отсылала своему мужу.

